

© 1996 г., ЭО, № 5

## РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЬБАХ НАУКИ

Проект интервьюирования специалистов из разных областей общественной жизни был задуман известным антропологом Джорджем Маркусом в сотрудничестве с издательством Чикагского университета. К настоящему времени уже вышли две книги — «Perilious States» («Рискующие государства») и «Technoscientific Imaginaries» («Технонаучное воображение»), посвященные проблемам идеологии, политики и естественных наук. На мою долю выпало опросить американских антропологов. Мне показалось, что выделенные ими проблемы актуальны и для отечественной этнологии, поэтому я предложил аналогичные вопросы некоторым российским ученым.

На предложение откликнулись В. В. Карлов, А. А. Никишенков, С. В. Соколовский и С. В. Чешко, а журнал «Этнографическое обозрение» предоставил свои страницы для публикации этих интервью. Беседы проводились без предварительной подготовки, но именно спонтанный характер ответов придает им определенный интерес. Хочется надеяться, что публикуемый материал может послужить стимулом для дальнейшей дискуссии.

*Алексей Елфимов*

**А. Елфимов.** Начнем с вопроса о месте этнографии в системе гуманитарных наук. Где, по-вашему, это место? Представляет ли собой этнография «историческую» дисциплину, «социологическую» или «культурологическую»? Меняется ли ее статус в этом смысле за последние 10—15 лет?

**В. Карлов.** Я всегда считал, что этнография, конечно, историческая дисциплина. «Социологическая» область для меня лично является пограничной. А с «культурологической» областью вопрос сложен, потому что статус культурологии, вы сами знаете, у нас не очень ясный и определенный. С моей точки зрения, и этнография, и культурология, бесспорно, должны быть теснее всего связаны с историей. Эти области очень близки сами по себе. В отечественной традиции мы всегда были ближе к истории. Если вспомнить корифеев нашей этнографии, то большинство из них — историки, например, Надеждин или Кавелин.

Меняется ли статус этнографии за последние 15 лет? В нашей академической традиции при Ю. В. Бромлее, на мой взгляд, явно обозначилась тенденция придвинуть этнографию куда-то поближе к социологии. Это с одной стороны. С другой, сам Ю. В. Бромлей всегда с легкостью отвлекался на всякие «этно...» с приставками («этноэкономики» и прочие вещи). Когда-то, когда все это началось, это было полезно, конечно. Почему? Да потому что в этнографию пришли многие люди со стороны, которые заметили недостатки, не видные нам, кто в этом соку, так сказать, варился и воспитывался. Появились какие-то новые подходы и идеи. А потом, к сожалению, это начало перерастать просто-напросто в то, что этнография стала терять свое профессиональное видение предмета.

На сегодняшний день, мне кажется, ситуация сложилась уже достаточно опасная. Я хочу сказать, что при всем моем сочувствии ко всяким смежным дисциплинам (я всегда ими интересовался довольно активно — и социологией, и психологией, без этого невозможно в конце концов), мы все-таки должны оставаться на позиции своего видения предмета. Если это будет, тогда никакие нововведения не страшны.

С. Чешко. Я в какой-то степени прагматик. Вопросы классификации, систематизации наук меня не очень занимают, поскольку они не имеют существенного значения для самого научного исследования. Они важны скорее для междисциплинарной конкуренции, институционализации наук и т. д. Это и естественная сфера интеллектуальной деятельности для тех ученых, которые по каким-либо причинам утратили интерес к изучению конкретных социальных явлений.

Традиционно в отечественной науке проводилось довольно жесткое, хотя и не вполне безупречное, с точки зрения логики, разграничение между этнографией, историей и социологией. Правда, в то же время этнографию безусловно относили к историческим дисциплинам. Такие представления сложились, как известно, в силу прежде всего определенных идеологических причин.

Статус этнографии за последние 10—15 лет в нашем научном сообществе, вообще говоря, повысился. В значительной степени благодаря тому же академику Бромлею, которого сегодня очень многие ругают. В свое время этнографию не признавали наши истматчики, партийные философы и прочие, прочие, прочие. Сами термины «этнография» и «этнос» вообще считали чуть ли не каким-то ревизионизмом марксизма. Только в 1970—1980-е годы этнографическая терминология стала выходить на более видное место в отечественной науке, хотя этнография еще продолжала занимать довольно маргинальное положение. А буквально в последние годы, в конце 1980-х — начале 1990-х, об этнографии, этносе все стали говорить, в том числе и те, кто ничего не понимает в этих вопросах. Теперь это во многом конъюнктурная материя, связанная с национальными конфликтами, национальными отношениями и возможностью сделать себе карьеру на изучении или спекулировании этими проблемами.

С. Соколовский. Мне кажется, что наша этнография, или наше дисциплинарное сообщество распадается на ряд субдисциплин или, лучше, на ряд групп людей, которые занимаются тем, что они любят. У нас есть этнография, представленная как «историческая» дисциплина, т. е. все исследования так называемого этногенеза и этнической истории. Этим раньше многие занимались, и в принципе этот жанр не умер. Есть этнография, представленная как «социологическая» дисциплина, т. е. те, кто исследует сегментированный этнический рынок труда и т. п. (О. И. Шкаратан, Л. С. Перепелкин и др.).

«Экономическая», или «экономико-социологическая» этнография у нас тоже есть. Далее, есть «культурологическая» дисциплина, в плане исследований фольклора, где можно выделить целое направление «семиотики этнической культуры и исследований фольклора». «Социологическая» ветвь этнографии, кстати, тесно смыкается с «политологией» и, надо сказать, почти уже сама стала «политологией» (более или менее сфокусированной на межэтнических отношениях). Плюс, у нас еще есть «географическая» дисциплина, имеющая дело с «экологией этнических сообществ» (В. В. Степанов, А. А. Суколов, А. Н. Ямсков).

Я хочу сказать, что все это есть. Но размещать этнографию в системе гуманитарных наук я бы не стал — да и вообще не предполагаю, что такая система есть. Я считаю, что сегодня наука организована больше по проблемам, чем по дисциплинам. И только система университетского образования воспроизводит старые дисциплинарные разделения, ну и отчасти система научных аттестаций. А сама наука уже движется не по дисциплинарным рельсам, а скорее по проблемным.

А. Никишенков. У меня на этот счет взгляды менялись довольно радикально в последние 15 лет. В свое время, когда я увлекался британской традицией, то однозначно полагал, что место этнографии — среди социальных наук, где-то в районе социологии, но, конечно, с культурологическим уклоном. Потом я постепенно пришел к мысли, что лучшее место (не вообще этнографии, а этнографии в нашей стране) — это в системе исторических наук. Наверное, потому что я постепенно пропитался историческим патриотизмом. Логически все это обосновать трудно, наверное, но на таком выводе я пока остановился.

Культурологическая ли у этнографии направленность? Еще недавно я думал «да». Культура в ее широком смысле, как мне казалось, являлась как раз тем

предметом, который был достоин изучения этнографами. И главным образом потому, что меня смущала излишняя нацеленность на этнос. Где-то к середине 1990-х годов эта «суженность» советской этнографии на этносах мне показалась угрожающей. И мне думалось, что она должна иметь культурологическую направленность. Но в годы перестройки, когда у нас была искусственно создана научная дисциплина «культурология», я стал думать по этому поводу иначе. Почему?

Культурология была создана, так сказать, «аутсайдерами» среди философов, которые уже давно помышляли о своей дисциплинарной суверенности. А поскольку в перестройку можно было все, что угодно, учредить (вы знаете, всякие академии учреждались, университеты), то они «учредили» дисциплину, «провели» ее через все коридоры академической власти, т. е. они получили номер в высшей аттестационной комиссии; совет там был создан, и даже несколько человек сразу защитили диссертации по культурологии. И уже только после того, как она была «сверху» создана, люди задумались над тем, что она собой представляет как дисциплина.

Ведь с самого начала весь этот процесс обнаружил много негативных и вообще непонятных аспектов. В частности, эта культурологическая наука по преимуществу «осела» на освобожденных местах (марксистско-ленинская философия, научный коммунизм, история КПСС), и огромная армия людей, которые были связаны с этими дисциплинами, вдруг неожиданно были переименованы «сверху» в «культурологов». Их всех заставили переквалифицироваться — перейти в общем-то на неизвестные, какие-то новые рельсы. Кстати, я, грешным делом, к этому процессу был причастен, и мне показалось, что тут было много всяких показушных моментов. Вот почему мне не хотелось бы отождествлять этнографию с культурологией.

Каков статус этнографии за последние 15 лет? В общем он не менялся. Она, наша наука, все больше и больше в течение этих 15 лет привязывалась к концепции этноса. Концепция была спущена «сверху» Ю. В. Бромлеем, а до того этот процесс был начат еще Сергеем Александровичем Токаревым (да, даже им!), Николаем Николаевичем Чебоксаровым и многими другими. Этнография постепенно утрачивала многие сферы приложения, постепенно приходил в упадок самый, пожалуй, престижный ранее блок, который именовался «Историей первобытного общества».

Он был престижным по многим причинам, прежде всего потому, что имел отношение к идеологической сфере. Ведь первобытность была целой «формацией». Этнографы, которые ее оккупировали, выходили на престижные уровни и в общем-то получали то, что средний этнограф получить не мог, — доступ в верхние этажи нашей академической империи. Но постепенно все это приходило в упадок. Тоже по многим причинам. Отчасти потому, что появилась концепция этноса. И, в свою очередь, одним из резонансных явления этой «большой» концепции этноса являлось все то же конъюнктурное стремление (я, может быть, слишком грубо говорю), опять-таки, завоевать епархию в верхних этажах идеологически окрашенного академического сообщества.

К разработке «национального вопроса», которым занимались философы и специалисты по научному коммунизму, этнографов тогда не допускали. А в эпоху перестройки (даже не перестройки, а еще хрущевской «оттепели») начался процесс такой вот перетасовки дисциплин и их статусов — и как раз в этот период, в 1960-е годы, этнографы застолбили в этой проблематике конъюнктурное и престижное «свое место». Таким образом, за 25—30 лет произошла определенная смена парадигмы. Первобытность уходила на периферию — теперь она влачит жалкое существование, а то, что раньше было периферийным, приобрело центральное значение. Вот что я по этому поводу думаю.

А. Елфимов. Одной из повсеместно обсуждаемых проблем в западной гуманитарной науке за последнее 20-летие стало противоречие между теоретическим и прикладным характером знания. Как вы полагаете, какой характер в этом отношении носит этнография — теоретической дисциплины или прикладной?

**С. Чешко.** Я бы сказал, что в нашей стране такого жесткого разделения никогда не существовало. Да, в американской культурной антропологии со времен Франца Боаса и его так называемой «исторической школы» проводилось разделение на этнологию как теоретическую дисциплину и этнографию как прикладную и описательную дисциплину, которая должна была поставлять «патроны» для теоретиков,— все это объединялось в систему культурной антропологии. У нас никогда такого разделения не существовало.

**В. Карлов.** Для меня, честно говоря, никогда такого разделения не было. Этнография всегда в себе сочетала и то, и другое. И то, что ее сейчас переименовали в «этнологию», для меня принципиально ничего не меняет.

**А. Елфимов.** Само собой разумеется, что любая дисциплина в принципе есть и прикладная, и теоретическая. Но я хотел спросить не о том, какой дисциплина должна быть по сути, а о том, каковой она у нас является фактически. В какую сторону, на ваш взгляд, она реально ориентирована: в «теоретическую» или в «прикладную»?.. На мой взгляд, она и не теоретическая, и не прикладная, а так... (это, конечно, шутка)...

**В. Карлов.** Нет, я совершенно согласен, это не шутка, к сожалению. На самом деле в течение долгого времени она у нас была не прикладная, а просто эмпирическая. То, чем многие и многие ограничивались,— это фиксация явлений этнокультурного бытия народов, достаточно подробная, квалифицированная, но замкнутая сама на себе. У нас, конечно, всегда были свои теоретики. Возьмите, к примеру, самые «махровые» времена. Толстов при всех парадоксах своего времени был блестящим ученым с великолепными идеями. Токарев, особенно в молодости, проявлял большую тягу к теории (впоследствии он, правда, стал осторожнее и укоренился в таком, что-ли, позитивистском понимании науки). Сейчас этот разрыв снова существует. И мне кажется, не очень хорошо для нынешнего состояния науки, что одни ударились в теоретизирование, оторванное от традиций этнографии, а другие занимаются одной эмпирией. И первые, и вторые друг с другом иногда спорят, но общий язык далеко не всегда находят.

**А. Никишенков.** Это вопрос непростой. Но я считаю, что этнография в ее «академическом» смысле (я имею в виду и Академию наук, и университетскую дисциплину), конечно же, теоретическая. Она должна быть такой, она ею и остается — и в хорошем смысле теоретической, и в плохом смысле. Хотя, конечно же, в ней есть много схоластики. Деклараций о прикладном значении делалось в советское время огромное количество, потому что принцип «полезности» для советского строя был самоочевидным. Это была такая мифологическая формула, и все, так или иначе, отдавали ей дань и совершали ритуальные действия (словесные, конечно же). Очень часто специалисты блефовали и сознательно, а чаще просто по инерции изображали невероятную прикладную важность там, где ее на самом деле не было.

В последние годы прикладной смысл как бы стал меняться — все это оживилось во время перестройки, когда начались обострения межэтнических отношений. Многие этнографы решили тогда, что наступила их звездная пора и они наконец смогут ввести в практику свои теории. Здесь тоже многие блефовали, но многие были искренни. Хотя, как мне кажется, итог всего этого, если непредвзято подойти, следующий: мы даже не догадываемся, что такое прикладная наука в гуманитарной сфере. Эта проблема у нас не разрабатывалась всерьез никем и никогда. Бытовал такой тезис, я бы сказал, целая максима: теория является прикладной в том случае, если она хорошая теория. Стоит ей быть хорошей — и ее приложение автоматически следует. Это глубокое заблуждение. Потому что между живой жизнью, между практикой и теорией должен быть целый ряд специализированных сфер.

Во-первых, должны быть люди из прикладной сферы, которые хорошо разбираются в теоретических вопросах. Во-вторых, люди, которые специально бы разрабатывали механизмы перевода теоретической информации в практическую жизнь, с тем чтобы они работали не во зло, а во благо.

Кстати, о зле и благе. Ведь и эта *этическая* проблема у нас в этнографии никогда не ставилась сколько-нибудь серьезно. Я не знаю ни одной публикации, где бы всерьез этнографы рефлектировали: зло несет их работа или добро? Вообще такие вопросы считались раньше и считаются сейчас неприличными. Ученый должен быть объективным, а уж какой он, плохой или хороший в этическом плане, это не имеет отношения к делу. Это наследие сциентизма XIX в., который каким-то контрабандным путем на волне марксизма проник в нашу науку. Правда, есть и другой аспект, постепенно как бы изжитый,— это троцкистская этика: то, что полезно для дела рабочего класса, то и есть добро. Это этика воюющего генерала: что на благо моей операции, то добро; что во зло противнику, то мне на благо. Такие вещи у нас были в науке, и они постепенно изживаются, как изживается многое из того, что явно не годится.

Таким образом, этическая проблема отсутствует, а без ее постановки и какого-то решения говорить о прикладной сфере, к сожалению, не приходится. Могу лишь констатировать, что на Западе эти проблемы очень интенсивно обсуждались. Пресловутый «постмодернизм», если о нем говорить как о чем-то конкретном, как раз и начался с обсуждения этических проблем. Достаточно вспомнить публикации Сола Тэкса, Ла Барра, Барриджа, Берримана, Дианы Льюис и многих других. В то время в «Каррент антрополоджи» прошла целая полоса публикаций об этике. А у нас ничего подобного не было. Поэтому, прежде чем всерьез говорить о полезности этнографии в практическом деле, нужно решить массу связанных с этим проблем. А их никто не решает. Вот этот печальный факт я констатирую.

С. Соколовский. У нас (да, в принципе, и на Западе) существовала и существует такая риторика поля: «без поля ничего нельзя». С этим много боролись и даже высмеивали, но тем не менее эта риторика есть. Это значит, что в принципе этнография ориентирована как прикладная наука. Вместе с тем, как мне кажется, отечественная этнография переживает нехорошие времена именно из-за того, что этот эмпиризм сегодня стал слишком модным и способствует прежде всего тому, что В. А. Тишков называет «politically relevant research».

Ориентированные на политическую сиюминутность исследования действительно спонсируются, и в этом смысле прикладная сторона этнологии окупается. Кризис я связываю как раз с тем, что все кинулись в такую эмпирику и часто делают вид, что существует и некая теория, которая *подлежит* под этой эмпирикой. А такой теории нет. На самом деле те многообразные теории и концепции, которые уже существуют, остаются просто неосвоенными отечественными этнографами. Эта неосвоенность, а также непродуманность сказываются на каждом шагу в планировании эмпирических исследований. Этнография внешне ориентирована как эмпирическая дисциплина, однако существует, как мне кажется, глубинная потребность даже не в теории, а просто в критическом пересмотре основ этой эмпирики. В наших исследованиях присутствует слишком много безотчетных, чисто «коленных» рефлексов.

И есть, действительно, определенный кризис легитимации. Старые теории, вроде бы, отвергнуты (по крайней мере, говорится, что они не годятся), а по поводу новых ничего не сказано. Более того, при попытках трансляции, скажем, опыта западной этнологии, в позу сразу становится почвенническая группа, которая говорит: «Ничего этого нам не нужно... Россию умом не понять, у нее особенная статья... и теории нам нужны особенные». Сама эта группа ничего, в смысле выдвижения особенных теорий, не делает. В итоге назревает кризис легитимации. И молодежь сегодня сидит между двумя стульями: она, с одной стороны, плохо освоила то, что сделано на Западе, а с другой, не желает осваивать то, что сделано здесь, потому что это, как кажется, уже не нужно.

А. Елфимов. В связи с вопросом о теории и практике — существует ли четко выраженная парадигма этнографического исследования? Практикуется (практиковалась) ли она в советской (русской) этнографии? Какова корреляция между этнографией и остальными гуманитарными науками с этой точки зрения?

С. Чешко. Если можно сформулировать какую-то парадигму в нашей этнографической науке, то она, я думаю, будет лежать в комплексности применяемых методов и рассмотрении всякого этнологического объекта в самом широком хронологическом диапазоне — от возникновения народа до современности.

Существует точка зрения (довольно экстремистская, хотя в ней и есть зерно истины), что этнография (этнология, антропология) — это наука синтетическая, своего рода супернаука. Потому что в этнологических исследованиях очень трудно не касаться всех остальных вопросов, скажем, экономики, политики или искусства. Другие гуманитарные дисциплины (допустим, социология, история или психология) более специализированы в этом отношении.

В. Карлов. Ну, такая парадигма... Я не думаю, что она у нас была, хоть и считается, что существует советская теория этноса. Владимир Владимирович Пименов на такой заслуге советской этнографической школы всегда настаивает, но, с моей точки зрения, серьезной теории этноса создано не было. А было попросту то, что мы взяли какие-то общие марксистские схемы системно-формационного подхода и попытались втиснуть в них свой материал. Я об этом написал в своей докторской работе. Часть ее еще не опубликована, однако именно там я сослался на высказывание Плеханова о характере революционной теории как алгебраической формулы, в которую надо в каждом случае подставлять свои арифметические величины. Я не хочу разбирать революционную теорию, а хочу единственно подчеркнуть наше отношение к марксистской теории.

Мы взяли эту схему. И будучи в большинстве своем хорошими исследователями, прекрасно знающими свои арифметические величины, мы, тем не менее, насильно вставляли их в формулу и шли, таким образом, на подгонку, как нерадивые ученики. Так что серьезной парадигмы у нас не было. Я имею в виду парадигму, исходящую из своего предмета. Над ней надо работать — в марксистской ли традиции или нет, — этот вопрос не главный, наверное. Нужно просто работать над своей профессиональной парадигмой.

С. Соколовский. Если попытаться выделить что-то особенное у нас и назвать это «парадигмой» (я, правда, не верю в то, что у нас действительно, в куновском смысле, есть какой-то парадигмальный характер этнографического знания), то в принципе этим особенным будет выродившийся немецкий романтизм. Он, впрочем, был замешан на хорошем просвещении и на идеях позитивного знания. А эти идеи пришли, видимо, и через марксизм, и через Гегеля.

Мне кажется, что раньше этнография была более открыта к философскому знанию (это было важной ее характеристикой), но впоследствии она «закрылась». Философские идеи еще как-то влияли на тогдашнюю антропологию. А потом антропология оформилась, «оуклилась», перестала быть открытой для новых идей. Все уже как бы узнали, что такое человек, и осталось только выяснить какие-то специфические детали — о «других людях и о других обществах». Но философия не стояла на месте, она продолжала размышлять над тем, что такое человек. Однако новые философские идеи, вся философская антропология совершенно не вошли в отечественную этнографию.

Философская антропология попыталась войти в западную этнологию, да и то через боковые двери. Постмодернизм, я считаю, и есть движение к открытию этой философской проблематики. Но и постмодернистская философия человека состоялась не вполне. Может быть, слишком быстро возникла консервативная реакция, т. е. реакция отторжения и охранения этого позитивного знания и его общей модели. Релятивизм, конечно же, выбивает почву из-под ног, хотя все привыкли стоять на твердой почве.

Таким образом, для нашей науки *позитивизм* — характеристика достаточно парадигмальная. Интересно, что позитивистская наука должна воссоздавать целое. А у нас она удивительно раздроблена из-за типичной идеи, что «каждый добудет кусочек, принесет кирпичик, закроет тему, и из этого сложится общее знание». У нас получается, что картина целого всегда остается виртуальной. Это своего рода «виртуальный холизм». На самом деле мы имеем дело с чрезвычайно

фрагментированным представлением о некоем целом, о котором, кроме всего прочего, и мыслить запрещено. Потому что мысли о целом — это теория.

У нас позитивизм живет в своей плохой разновидности, он чрезвычайно эмпирический: абстрактно думать о целом либо не полагается, либо разрешается немногим одиночкам. И в этом смысле какого-то перетекания теоретического знания к полевикам и обратно не происходит. У нас всегда были две самостоятельные касты. Одни занимались теорией, как, например, Ю. В. Бромлей, М. В. Крюков, С. А. Арутюнов, В. И. Козлов (их не так много). Все остальные или занимались теорией сугубо для себя или же ездили в поле и говорили: «Ерунда все эти размышления, потому что они нам негодились». И, действительно, — они не находят применения.

И еще одна специфическая черта. Она не характерна только для нас, просто у нас она дольше, чем на Западе (где в последние годы она довольно убедительно критиковалась), задержалась. Это — пресловутый «экзотизм», т. е. «риторика инаковости». Она тесно связана с теорией этноса, потому что этническое пространство у нас воспринимается буквально как физико-географическое (достаточно вспомнить «карты расселения народов» и пр.).

Восприятие отечественными этнографами этнического пространства весьма своеобразно. Чтобы погрузиться в *этнографию*, нужно просто физически переехать. «Сейчас я сажусь в самолет, лечу в Чечню и я „в поле“». Я не могу выйти на улицу, на московский рынок и «оказаться в поле». Это не принято. Я не могу описывать как особую группу, скажем, новых русских. Это тоже не принято. Не принято выделять в качестве исследовательского объекта, к примеру, банкиров. Нет, нужно ехать к юкагирам. И вообще, чем дальше едешь, тем лучше. Так было и раньше. С этим был связан статус ученого. «Далеко» могли ехать только избранные. Скажем, на Чукотку далеко не каждый мог поехать. А уж на борт «Витязя» исследовать Океанию могли отправиться только особенные люди.

А. Никишенков. Приходится с печалью констатировать, что наша наука имеет, во-первых, сложное иерархическое строение, а во-вторых, она «дискретна» (в ней очень сильны междисциплинарные переборки). И это отражается во всем. Я не очень хорошо знаю академическую сферу, т. е. Академию наук. Что касается университета, то это самоочевидно. Все разбиты по факультетам, каждый, как крепостной крестьянин, приписан к какому-то департаменту.

Студент в общем может интересоваться чем угодно (это его личное дело), но его официальный статус все равно остается жестко связанным с набором дисциплин по его предмету. Совместная специализация, о которой в университете много говорили и высказывали пожелания, так и не стала реальностью. В лучшем случае студент может пройти от начала и до конца один этап, скажем, исторический факультет. Если его интересуют экономика, социология или юриспруденция, он может потом поступить на другие факультеты и снова пройти их от начала и до конца. Что из этого выйдет, какой коктейль, — это уже дело случая. Институциональных механизмов широкого и многовариантного образования у нас нет. Поэтому не приходится говорить о соотношениях.

Правда, есть соотношения другого плана. Не знаю, может быть, я не прав (это мое личное мнение или даже ощущение, основанное на материале нашей кафедры, а, возможно, и института), но этнография — это узкая в предметном отношении дисциплина. Я давно заметил (еще со студенческой поры, т. е. с самого начала 1970-х годов), что большинство этнографов в своих занятиях уходят куда-то на сторону. Это, может быть, и неплохо само по себе, но имеет разные последствия. Так, в 1960—1970-е годы Геннадий Евгеньевич Марков и Сергей Петрович Поляков у нас сильно увлекались археологией и много копали. И у меня сложилось тогда впечатление, что этнографией в подлинном смысле слова у нас на кафедре перестали заниматься.

Сергей Петрович и Геннадий Евгеньевич делали большое дело, организовывая полевую практику. Но по сути дела получалось, что все студенты по преимуществу копали. Лишь иногда им в виде дополнения формулировали задачи по

этнографии. Студенты это воспринимали как выходной, поскольку они получали возможность не копать на солнцепеке в Средней Азии, а пойти в какой-нибудь кишлак, попить чаю, о чем-нибудь там расспросить. Вот и вся этнография полевая. Это первое.

Второе. Другие, Лев Павлович Лашук, например, больше интересовались философией и гораздо охотнее говорили на эти темы, чем на этнографические. И это касается многих и многих.

Правда, можно сказать, что этнография изначально была многоцелевой, и сказанное в общем не противоречит цеховым предписаниям. Но все-таки, как мне кажется, в этом есть что-то характерное. Этнография — это не «шагреновая кожа», а такой скользкий бугорок, в центре которого трудно удержаться. И все мало-мальски активные люди всегда соскальзывают куда-то в сторону. Вполне возможно, это первородный грех этнографии. Но вот эта, так сказать, связка: социология — философия — археология — этнография уже стала органичной и выстрадана нашей этнографией. Поэтому ее, эту связку, невозможно разорвать. Она, очевидно, будет сохраняться и впредь в каком-то новом качестве. Это, как я думаю, и есть одна из «парадигмальных» основ нашей этнографии.

**А. Елфимов.** Что можно сказать о структуре преподавания этнографии в России? Что в ней хорошего и что плохого?

**С. Чешко.** Я не очень хорошо знаком с современным положением. Хотя традиционно было так (в значительной степени это, видимо, остается и поныне): в Советском Союзе существовало две специализированные кафедры этнографии — в Московском и Ленинградском университетах. По сравнению с западной системой высшего образования, это, конечно, меньше, чем капля в море. В региональных и республиканских университетах существовали, как правило, комплексные кафедры (допустим, фольклористики, археологии и этнографии).

Сегодня, правда, развелось очень много самых разных университетов. Пару лет я читал этнологию в одном из таких московских университетов. И должен сказать, это была пародия на этнологию, потому что всего времени на нее там отводился семестр. А в последний раз мне вообще пришлось прочитать весь курс в течение месяца. С ленинградской кафедрой я не знаком, поскольку заканчивал московскую кафедру этнографии.

Насколько я понимаю, система преподавания осталась примерно та же, со всеми своими плюсами и минусами. Что касается первых, то это прежде всего фундаментальная подготовка по фактическому материалу — иными словами, описательность. Читаются очень хорошие курсы по историографии. А минусы в том, что не хватает спецкурсов по современной проблематике. На московской кафедре пытались, я знаю, ввести курсы по социологии и по современным этнополитическим проблемам, но, наверное, возникли проблемы с преподавательским составом.

Таким образом, изменения происходят, но, насколько я понял, не очень радикальные. Я не уверен, что нужно в корне ломать старую систему, которая давала фундаментальную подготовку, и придумывать что-то новое. Прежде всего следует расширять сеть учебных заведений, которые хорошо бы готовили специалистов по этнологии. Тогда будет разнообразие и в учебных планах, и в спецкурсах, и в семинарах, и в направлениях. Все охватить на одной-двух кафедрах — совершенно бессмысленное занятие.

**С. Соколовский.** У нас переиздаются старые плохие учебники вместо того, чтобы писать новые. Что по этим учебникам можно преподавать? Наверное, ничего хорошего. Переиздавать учебники, которые были рождены морально устаревшими, — это, конечно, не дело. В этом смысле, наверное, прав В. А. Тишков, который говорит, что у нас не кризис, а просто нехватка дисциплины (дисциплины в «институциональном» смысле — у нас же ее не преподают как следует). [Никишенкову]. Это, Алексей Алексеевич, пожалуй, единственное исключение, которое мне известно. Не знаю, может, тебе больше повезло, когда ты обучался на кафедре. Мне в аспирантуре не повезло. У нас Владимир Владимирович



Пименов читал нечто, что мне не нравилось активно, потому что в его увлечениях системными подходами и теорией информации были случаи надуманности или просто незнания достоверной статистики... Одним словом, мне это было неинтересно.

Если все же ориентироваться на университет, то я бы, пожалуй, ходил на лекции только к Никишенкову. Больше ни к кому. Впрочем, я сужу по работам. Может быть, там есть другие замечательные лекции, я не знаю, [Никишенкову] тебе виднее.

**В. Карлов.** Вы знаете, главное, чему мы должны научить, обязаны научить студента, — это профессиональному видению предмета. Я, по крайней мере, стараюсь исходить из этого. Хотя в этом плане мы, к сожалению, повторяем множество ошибок академической традиции. Пусть с недостатками, но, скажем, при Токареве, Толстове и Чебоксарове у нас на кафедре было профессиональное понимание и видение предмета. Когда же на нас нахлынули всякие «этносоциологии», «этноэкономики» и «этнопсихологии», мы тут же стали этот предмет терять. К сожалению, хотим мы того или нет, это происходит.

Я, например, никогда не возражал против введения некоторых предметов, потому что они практически нужны этнографу. Однако что-то здесь не получается; пока что я не вижу, чтобы они особенно помогали. Мне кажется, что когда читают у нас «этносоциологию» или «этнопсихологию», то лучше бы, конечно, это делали люди, работающие в этих сферах, но с этнографическим образованием.

Что хорошего в структуре преподавания? Хорошо, что мы все-таки придерживаемся сложившейся у нас схемы (она, по-моему, себя оправдала) — от общего к частному, т. е. даем общее представление об этнической картине мира в поступательном развитии человечества, начиная от первобытности, а потом уже переходим на более конкретные сюжеты, связанные с конкретными регионами.

А что плохо? Конечно, сейчас главная опасность и главная беда — нынешняя бедность с полевой базой. Без полевых исследований нормальная подготовка этнолога невозможна. «Поле» у нас просто в кризисном состоянии. Однако это, к сожалению, не от нас и не от кафедры зависит. Выкручиваемся, как можем. По дипломным и курсовым работам уже давно чувствуется, что полевого материала не хватает. Не хватает, может быть, и каких-то общих, завершающих курсов. На старших курсах есть только один семинар Арутюнова. «Народы и культуры» он, по-моему, называется. Вести еще пару таких курсов или семинаров, конечно, было бы очень интересно и полезно.

Вопрос о том, что плохо, — это сегодня большой вопрос, и здесь каяться можно во многом. Вести надо многие предметы, но учебные планы не резиновые. Оптимум старались много раз найти, но пока что сбалансировать все нужные вещи не особенно удается. Была попытка, к примеру, увеличить курсы по современности за счет урезания «первобытных». Современность — это хорошо, но для полноценной подготовки этнографа, в принципе, нельзя и первобытное общество «выбрасывать» — это же азы школы. Так что тут везде сложности, и я не хочу пускаться в обвальную критику. Чисто объективные сложности, которые все понимают, но ничего поделать с ними не могут.

У Владимира Владимировича Пименова есть давняя мечта — сделать этнографическое отделение со специализацией с первого курса. Это, наверное, облегчило бы решение половины задач, потому что тогда бы мы определяли учебный план сами. Хотя здесь могла бы возникнуть другая опасность — сильное сокращение курсов по всеобщей истории или отечественной истории. А в этом тоже мало хорошего, как сами понимаете. Сила нашей подготовки, на мой взгляд, заключается в том, что наши ребята все-таки получают хорошее, широкое историческое образование.

**А. Никишенков.** Изнутри трудно судить, конечно. И какие критерии тут, неизвестно. У меня весьма субъективные представления по этому поводу (а какие же еще могут быть?). Что хорошо? Мне кажется, это все-таки связь с историческим образованием. В целом этнографическая проблематика, надо

признать, довольно маргинальна и изолирована, но исторический контекст, который существует и воспроизводится благодаря образованию, несет в себе какие-то потенции.

А плохого много (на своей кухне всегда много плохого). Например, то, что «поле» чрезвычайно плохо поставлено. Раньше это были просто студенческие экскурсии, которые и полевой работой не назовешь. Несколько десятков студентов, неопытных, замкнутых друг на друга, выезжают — неважно куда — и в течение трех-четырёх недель совершают ритуальные действия, главным образом по расспрашиванию стариков. Именно это я застал в свое время.

Был и есть другой вариант — анкетирование при помощи формальных вопросников. Этот вариант не лучше, и этнографией его тоже трудно назвать. К сожалению, умерла традиция, в свое время заложенная в Питере Львом Штернбергом, когда североведы отправлялись в поле на целые годы. Это было в 1920-е годы (может быть, в начале 1930-х). А потом в этнографии наступили не очень хорошие времена, и пришла вот такая экскурсионная работа. Преподаватели сегодня «полем» всерьез не занимаются. Если они прочтут это интервью, то, наверное, сильно обидятся на меня. Но я такую мысль уже однажды высказал на заседании редколлегии «Этнографического обозрения», и на меня обиделись, потому что *все были в экспедициях*. Замечание, что у нас нет никакой полевой работы, задело коллег.

Конечно, я имел в виду не вполне патриотическую мысль. А именно, есть, условно говоря, Malinowskian или Boasian стиль полевой работы. У нас же его как такового не было. А мне кажется, что подобный стиль в любом случае необходимо поставить. Хотя сейчас это невозможно сделать. Впрочем, если бы было сильное желание и если бы у интенсивной полевой работы появилась академическая ценность, все можно сделать, найти спонсоров и т. д. К сожалению, никаких стимулов и мотивов в нашей науке не накоплено.

Что можно изменить в структуре курсов? Во-первых, я не стал бы преследовать цель охвата всех народов Земли. Этот всеобщий и глобальный «региональный» принцип порочен потому, что заставляет переходить на скороговорку справочника. Времени на образование дается не так много, а необходимая и достаточная мера глубины познания не терпит такой всеобщности. Мы даем *поверхностное знание обо всем*. Поэтому есть смысл преподавать только те регионы, которые так или иначе связаны с научной деятельностью преподавателей. Причем, эти регионы должны освещаться не «монографически» (пища, одежда, жилище и т. д., и т. п.), а по проблемам, которые, опять-таки, входят в область компетенции преподавателей. Я имею в виду соединение регионального и проблемного принципов. Это первое.

Второе. Я ввел бы больше курсов, которые тем или иным образом связаны с попытками самоосознания ремесла. Безусловно, такие курсы есть: это и историография, и источниковедение. Кстати, вопрос о том, что такое источники этнографии — это очень важный и весьма неясный вопрос. Я не хочу ничего плохого сказать о том, что преподавалось у нас на кафедре на семинарах по источниковедению. Во всяком случае, это были не рефлексивные предметы, а какие-то восточные, может быть, талмудические формы. Там (это вообще характерно для нашей системы обучения) нужно было просто угадать, что хочет преподаватель, и сказать ему то, что он ожидает по поводу того, что он сам же и читал. У меня такое впечатление.

Помню, в бытность свою студентом, в семинаре Геннадия Герасимовича Громова я делал доклад по источниковедению, по «Повести временных лет». Читаю и вижу его недовольное лицо. Думаю: «Чего это ему не нравится?» А потом нечаянно затронул его любимую материальную культуру и сразу увидел оживание на его лице. Тогда я стал мучительно вспоминать малейшее упоминание хоть о каком-то материальном предмете, который есть в этом памятнике. В общем дело сошло. Но это не рефлексия, это не то, что заставляет студента задуматься о ремесле, о том, какие есть методы, парадигмы (слово это у

нас на кафедре считается неприличным), какие есть, там, эпистемы (тем более неприличное слово), задачи, смыслы, цель, мотивы. А все это нужно как-то осмысливать.

Возможно, я и не прав. Может быть, это уже «постмодернизм», и от него нужно оберегать «малых сих», не смущать их излишней рефлексией. Не знаю. Лично мне в свое время, когда я был студентом, на эти темы рассуждать было интересно (конечно, *вне академической среды, вне аудитории, среди студентов*). Мне кажется, что как-то начинать это нужно.

Далее. Своеобразная болезнь нашего образования в том, что оно *монологично*, оно построено на старых немецких канонах (в чем-то, опять же, — на старых восточных), когда преподаватель очень долго говорит, а студенты слушают очень долго и... отвыкают сами говорить. Студенты должны быть активны. Но, увы, это нужно организовать. В свое время я сделал попытку на семинарах по историографии и по первобытности — старался строить их по разным проблемным сферам. Но это, как говорится, мой личный опыт. И в данной связи он, может быть, не так важен, как важна сама проблема перевода на «проблемный» стиль образования. Именно *деятельностный* стиль (я это слово не люблю, но другого не скажешь) — чтобы студенты что-нибудь *делали*, действовали самостоятельно, высказывали свою точку зрения постоянно, начиная с азов своего этнографического обучения. А сейчас они только читают перед экзаменом, как правило, учебник, в котором мало пользы.

Это мое субъективное мнение, спорное, но я не люблю учебник. Мне они кажутся совершенно вредными. Для школьников они необходимы; что же касается университета, то там они приводят не к лучшим результатам. Потому что они создают иллюзию знания. Учебник можно прочитать перед экзаменом, сдать его и сразу же забыть (как забывается справочник, потому что запоминать справочник — бесполезнейшее занятие). Вот такие дела...

Наконец, отталкиваясь от той ситуации, которая сейчас у нас сложилась, я должен сказать, что мне не нравится введение всяких этнопсихологий, этносоциологий, этноюриспруденций и т. д. У нас это такой «промискуитет» этнографии, когда она со всеми вступает в брак без разбора.

А. Елфимов. Я хочу вернуться к вопросу о «культурологии». Имеет ли она, на ваш взгляд, место и право на существование как отдельная дисциплина? Или это та же «история» или «этнография», попросту расширившая свои дисциплинарные рамки?

С. Соколовский. Если говорить об отечественной традиции (а такая вещь, как «культурология», наверное, только и существует в отечественной традиции — как-то это слово даже и непереводаемо), то это нечто вроде философии культуры (как, например, работы Маркаряна). Это все очень расплывчато и одновременно ужасно «системно структурно». Это, опять же, как бы последние отголоски «гегельянщины».

У нас была несколько странная реакция на марксизм: отрицание всего связанного с классом, но полное усвоение системного подхода. Это такой, если хотите, «тотальный функционализм» («всё существует для чего-то, всё связано в систему, всё друг друга определяет, детерминирует — и наше дело только проанализировать части, выявить взаимосвязи между этими частями и воссоздать что положено»). То есть наша культурология — это переложенная версия Парсонса с разными философскими экзерсисами — с анализом «духовных» понятий, с возведением этого к чему-то общечеловеческому и с отступлениями едва ли не в антропогенез. Так что, это можно было бы точнее назвать философией культуры.

Правда, у нас есть и более интересная школа, о которой я уже упоминал, — это культурная семиотика (Лотман и его тартуские последователи; некоторые ученые в Ленинграде, как Байбурин, например). Это тоже, наверное, культурология, хотя несколько другого рода. А традиционные культурологические книжки, особенно те, на обложке которых написано слово «культурология», читать совершенно невозможно. Как правило, это функционализм. Но он, кстати сказать, умирает.

Я хочу сказать, что 1990-е годы уже не увидели текстов в этом жанре, потому что культурология ушла в область литературной критики, литературно-философской критики, где, надо сказать, превратилась в более интересную вещь. Что значит «ушла»? Люди, которые делали культурологию вчера, непонятно что делают сегодня. Сегодня культурологической проблематикой серьезно занимаются совсем другие.

С. Чешко. Культурологией у нас особенно увлекаются философы, пытаются представить ее некой супердисциплиной... Может быть. Я же понимаю культурологию скорее не как дисциплину, а как любое научное направление, занимающееся изучением определенных феноменов бытия человеческой культуры, в самом широком смысле понятия «культура». Вы знаете, что определений культуры существует очень много и культуру могут изучать разные научные дисциплины, в том числе этнография, история, социология и другие науки. Изучение субкультуры футбольных болельщиков — это тоже культурология. Поэтому, как мне кажется, совершенно бессмысленно выделять культурологию в какую-то научную дисциплину и пытаться ее вставить в жестко фиксированную классификацию научных дисциплин.

В. Карлов. На мой взгляд, место культурологии где-то между истфаком, философским и отчасти социологическим факультетом. Но не на филологическом. На филфаке культурологическими сюжетами занимаются с какой-то сугубо своей точки зрения. А вообще, то, что у нас понимается под культурологией как дисциплиной, это предмет весьма формальный. Культурологические курсы вводятся в основном на факультетах повышения квалификации и т. п. Я некоторые их программы видел и должен сказать, что там есть интересные курсы. Но чего там определенно не хватает — это хорошего знания конкретной истории, потому что все они какого-то абстрактно-философского порядка. История и этнография представляют собой совершенно естественный и необходимый синтез, без которого хорошей культурологии быть, как мне кажется, не может.

А. Никишенков. Культурология, конечно же, имеет право на существование. Если появятся талантливые люди, которые под этим названием создадут хорошую дисциплину, почему бы и нет? Здесь нужны культурные герои, которые силой своего таланта и своей одержимости заложили бы основание, от которого отталкивались бы другие люди. Все зависит только от людей, а не от названий, в конце концов. Но у нас, к сожалению, такие учреждения «сверху» имеют свои минусы (они, безусловно, имеют, наверное, и плюсы). В любом случае в нашей стране без учредительства «сверху» невозможно обойтись.

Для того, чтобы даже из хорошего зачина получилась хорошая вещь, должно пройти много времени. Чтобы *наработалось* это хорошее. Это моя точка зрения. Я считаю, что наука во многом и многом объясняется словом «традиция». Наука — это то же самое, что и культура. Она должна во времени и в пространстве просуществовать и накопить некий золотой фонд. Заранее, словесно, декларативно его создать невозможно.

Так что, из культурологии, возможно, со временем что-то и получится. Кстати, я сейчас имею дело с культурологами, так как уже третий год работаю в институте повышения квалификации. И при всем моем скепсисе к этой дисциплине и ее организаторам (там, кстати, есть и замечательные люди), должен сказать, что большинство людей приходит на культурологические курсы не от хорошей жизни, а для того чтобы получить сертификат. Это называется «аттестация». Им необходимо пройти эти курсы, чтобы получить бумагу, которая дает право на заключение контрактов по преподаванию культурологии. Как правило, это бывшие преподаватели научного коммунизма, историки партии и др.

Среди них бывают поразительно открытые и динамичные натуры, даже если и не очень молодые. Многие из них рады, что рухнули дисциплинарные и программные барьеры. Они сами с увлечением составляют новые программы — самого невероятного плана (там есть и культура с литературоведческой точки зрения, и культура в глобальном «цивилизационном» плане, и культура как «бытовая»

культура). Это невероятное разнообразие и, что самое главное, в этом есть порой личностное начало и нет официальной спущенной сверху программы. Вот еще один шанс для культурологии. Если она сможет удержаться в таком либеральном духе многообразия — столь желанном, на мой взгляд, в нашем высшем образовании, то будет хороший предмет. А если появятся «генералы-культурологи», которые спустят единую программу, то это опять не приведет ни к чему хорошему.

**А. Елфимов.** Культурология, по крайней мере, декларативно, претендует на большую междисциплинарность, чем традиционные науки. Что можно сказать о междисциплинарности, интеграции гуманитарных наук в академических кругах и в институтах высшего образования? Какой степенью ее можно охарактеризовать?

**С. Соколовский.** Я говорил, что дисциплины воспроизводятся только за счет университетов и системы аттестаций. На мой взгляд, наука сейчас вся междисциплинарна в той или иной степени. Этого нельзя сказать по поводу «интеграции». Наука отнюдь не так интегрирована, как хотелось бы. Потому что при всей ее междисциплинарности она удивительным образом разделена на стили и освоенные системы понятий, «тезаурусы» отдельных исследовательских коллективов. Возьмем социологов. У них есть интересный журнал «Вопросы социологии», который дает свои анализы по Бурдьё. Бурдьё, как известно, много занимался антропологией, и это существенно повлияло на его проблематику. Он все видит не так, как обычные социологи. Группа вокруг «Вопросов социологии» восприняла этот язык, и, таким образом, она вроде бы работает междисциплинарно. Но их проблематика остается совершенно чуждой, например, нашим этнологам. То есть фактически каждый осваивает и создает некий уникальный набор понятий, который более или менее на слуху в данном сообществе, а за его пределами уже теряет смысл. По такого рода «стилям» наше сообщество разделено довольно сильно. Это можно обозначить словом «парокиализм». То есть можно говорить о *парокиальной* структуре нашей отечественной науки.

**В. Карлов.** Я уже в общем сказал о том, как я сегодня отношусь ко всяким «пограничным» дисциплинам. Так что не буду, наверное, повторяться.

**С. Чешко.** Междисциплинарность в науках существовала всегда. А особенно это касается этнографии. Правда, у нас была раньше и в значительной степени сохраняется сегодня такая характерная ситуация, когда разные научные учреждения и разные группы ученых занимаются совершенно близкими вопросами и не ведают о том, что творится у соседа. Но все же в любом научном исследовании принято привлекать всегда целый комплекс источников. Если это нормальный ученый, он так или иначе этот комплекс привлечет.

«Междисциплинарностью» в показном смысле особенно увлекались в конце 1970-х — начале 1980-х годов, когда был выброшен лозунг комплексных исследований. В этот период появились различные смежные дисциплины, в том числе и в рамках этнологии (этносоциология, этнопсихология, этноэкология, этногеография и т. д.). В общем, ко всему, что существовало, прибавляли приставку «этно» и считали, что это пограничная дисциплина. Чаще всего, на мой взгляд (крайне субъективный в данном случае), это были мертворожденные таксономы.

Люди, как занимались, так и продолжали заниматься тем, что они делали раньше. При этом происходили иногда и некоторые методологические перехлесты. Нередко сторонники этих новых субдисциплин вдруг открывали, что их метод и их кусочек этнологии является главным определяющим. Этнопсихологи тянули в сторону психологии (как, впрочем, это было и на Западе в свое время), этносоциологи — в сторону социологии, экологи — куда-то там еще. Так что, эта «междисциплинарность» зачастую играла, как ни парадоксально, дифференцирующую, а не интегрирующую роль. Но в принципе, междисциплинарность — это обычная вещь, она существует во всех науках, а уж в этнологии без нее жить просто невозможно.

**А. Никишенков.** Об этом говорят давно. По крайней мере, со студенческих времен я помню, что на конференциях и всяких научных советах всегда маячил вопрос о создании междисциплинарных исследовательских групп и о необ-

ходимости междисциплинарных исследований. Помню, академик Ковальченко однажды даже такую мысль высказал, что дивергенция наук — это процесс естественный, потому что углубление всегда ведет к отпочковыванию новых и новых сфер, а вот соединение их обратно — процесс неестественный, и потому он всегда должен как-то организовываться и иметь волевое начало.

Я думаю, академик был прав, потому что всякое сведение разнообразных парадигм под одну крышу требует выработки какого-то особенного метаязыка. Он, конечно, порой возникает и стихийно. Есть много областей познания (та же антропология), где в понятийной сфере существуют взаимно перекрывающиеся направления. Сегодня всё проникает во всё. Но на институциональном уровне это все еще сложно. Это более осуществимо на уровне личности, опять-таки. Потому что личность — синтезатор.

Вообще очень часто в нашей институциональной сфере что-либо изменить без такого «культурного героя» бывает невозможно. В нашей традиции есть привычка собрать вместе представителей всех наук и сказать: «Давайте будем разрабатывать проблему человека». Как раньше, при Горбачеве, делали — собирали людей и говорили: «Вот вам тема — человеческий фактор. Давайте будем совершать интеллектуальный штурм познания человека». Это все заканчивалось либо изданием хрестоматий, либо «братскими могилами» — сборниками статей, в которых юрист пишет о юридическом, философ о философском, этнограф об этнографическом, историк об историческом, причем, авторы друг друга не понимают — вот и вся междисциплинарность.

Имеет ли междисциплинарность место в МГУ? Конечно, имеет — стихийно, как я уже сказал. На истфаке ее мало, правда. А вот на кафедре у нас не то что «междисциплинарность», а просто вакханалия междисциплинарности. Хорошо это или плохо, не знаю. История, как говорится, покажет. Пока ничего не видно.

А. Елфимов. Какие более или менее выраженные течения, направления можно выделить в нашем этнографическом сообществе? Существуют ли они как фактические группы или проявляются более на уровне персональных предпочтений?

С. Чешко. У нас нет традиционных научных школ, связанных, скажем, с какими-то крупными учеными. Существует, скорее, парцеляризация научных интересов и научной деятельности. Сегодня, может быть, это лучше определить словом «разброд». Это связано и с перестройкой науки (или, по другому сказать, развалом науки), и с тем, что госбюджет уже не обеспечивает минимальный уровень жизни для ученых. Каждый пытается в этой ситуации выживать, как может. Но определенные течения сохраняются. Они представлены теми субдисциплинами, о которых мы уже говорили. Если их иметь в виду под «направлениями», то они существуют.

С давних времен у нас есть две, пожалуй, более существенные тенденции в научных ориентациях. Одна из них может быть условно названа «традиционалистской». Она связана с представлением о том, что этнология (кстати, сторонники этого направления термин «этнология» не любят, они предпочитают говорить «этнография») должна заниматься прежде всего традиционной культурой. Эта тенденция восходит к тому времени, когда в XIX в. этнография возникла как наука об экзотичных народах — главным образом заморских, колониальных. Научные исследования в рамках этого, условно говоря, направления так или иначе тянутся назад.

Смотришь — утверждается тема кандидатской диссертации. Там всегда будут одни и те же характерные «традиционный быт, хозяйство и прочее в конце XIX — начале XX в.» Это бесконечное пережевывание того, что уже 100 раз было.

Другое направление, опять же условно говоря, можно назвать «западническим». Представители этого направления — как правило, люди, которые знакомы с западной литературой, более или менее знают какое-то язык и прониклись духом западной антропологии. Они делают упор на современность и часто на разные модернизированные концепции западной антропологии. У них тоже есть свои перегибы.

Между этими двумя лагерями существует довольно ощутимый антагонизм. Это надо признать, и это можно проследить по заседаниям ученого совета, по защитах, по дискуссиям. Традиционалисты считают, что их оппоненты погрязли в западничестве, все «сдирают» на Западе и вообще предают традиции российской этнографии. А западники, в свою очередь, считают, что те погрязли в рутине, в своих плугах, лаптях и что дальше пресловутого рубежа XX в. они просто идти не хотят.

С. Соколовский. Следует сказать, что у нас существуют как бы «микрогруппы» (или просто «группы») и одновременно есть одиночки. Сектор «Русские» в нашем институте можно, наверное, назвать полной, целостной группой (там живет, так сказать, «православный дух»). Это идеальная социологическая группа, потому что у них есть самосознание. Они отторгают чужаков: если идея не та — то «всё» («не наш — и всё»). Есть люди, объединяющиеся на позициях идеологических, а поскольку у нас ситуация быстро меняется, то это превращается в подвижную мозаику.

Характерно, что часто люди объединяются в коалиции по признаку «против» (т. е. против какого-то общего сиюминутного «врага»), и все время — в разные коалиции. Стабильных коалиций по принципу «за» я что-то не припомню. Конкретные группы я уже называл, отвечая на первый вопрос.

А. Никишенков. Я в свое время столкнулся с понятиями «научная школа», «научное направление» и в школярской манере хотел было навести терминологическую ясность: что считать направлением, а что считать школой. Я протудировал литературу, которая была по этому поводу, но ничего, в общем-то, не вышло. И теперь я к этим понятиям отношусь очень нестрого.

Сейчас о «школах» иногда приходится слышать, когда я бываю в Сибири. Есть «ленинградская» школа, есть «московская». Правда, этот миф (наполовину — миф) поддерживают прежде всего ленинградцы. Они действительно курировали Сибирь во всех отношениях. Вы знаете, что в Ленинграде был Институт народов Севера и там учились многие сибирские кадры. Поэтому те люди к этому мифу относятся всерьез. Что касается онтологического, так сказать, сущностного содержания этого мифа, то, конечно же, это все коренится еще в 1920-х годах, когда в Ленинграде создавался Институт этнологии и Штернберг там организовывал многие хорошие вещи. Там была очень жива боасовская полевая традиция. Их люди были полевики, они изучали языки, отправлялись надолго работать в Сибирь, на Север. В Москве этого не было. В Москве это существовало как бы в отраженном ленинградском свете. Но со временем все это захирело. Сейчас в ленинградской академии проблемы те же самые, что и в московской. Кафедра у них стала совсем малюсенькая. Вот вам и «школа».

Есть, конечно, другое понятие — «советская школа». Оно было и остается в ходу по сей день. За этим понятием тоже что-то стоит, хотя многие отказывают ему в содержательности. Это, вообще сказать, следствие нашей иерархически организованной интеллектуальной жизни, о чем я уже говорил.

Фактические «направления» в нашем этнографическом сообществе обычно определяются по характеру предмета (как и вообще вся наша рефлексия научная, которая имеет характер конца XVIII — начала XIX в., сплошной онтологизм, когда все знание определяется по предмету, а не по вопросу, как к нему подходит, который сам по себе уже дело десятое). Так предметность устанавливает ряд имеющихся у нас дисциплинарных градаций.

Часто направления просто представляют собой кальки с западных течений, к примеру, «экологическая этнография» или «потестарная и политическая этнография», которые возникли именно таким образом. Как правило, они прививаются усилиями отдельных лиц и порой этими же отдельными лицами и заканчиваются. Л. Е. Куббель в своей книжке по потестарной и политической этнографии фактически изложил свое переосмысление традиций британской политической антропологии. Он был африканист и вырос на этом материале. Вокруг него образовался небольшой круг людей, интересовавшихся этими вопросами, что, на мой взгляд, было замечательно.

«Экологическую» этнографию культивирует В. И. Козлов, поскольку он географ. «Экономическую» этнографию как таковую создал Ю. И. Семенов. И то, и другое направление ложится в свои аналоги на Западе. И оба направления, опять же, представлены у нас минимальными группами.

Я хочу сказать, что течения у нас есть всякие, однако всем им присущи одинаковые характерные черты: они все представлены одним человеком, двумя, тремя людьми. Они возникали не естественно, из процесса познания, а как бы «вдогонку», имея, во-первых, уже некий архетип на Западе, а во-вторых, какого-то энтузиаста у нас. Наконец, они определяются, в нынешнем своем состоянии, организационными рамками сектора, отдела или лаборатории, с одной стороны, и формальной предметностью, с другой.

Можно говорить о других направлениях, имеющих косвенное отношение к этнографии (это семиотики, филологи, фольклористы, Лотман, Мелетинский, Топоров и люди их круга).

А. Елфимов. Можно ли говорить о наших «гуманитарных науках» как о консервативном или либеральном сообществе? Какие тенденции в них преобладают — левые или правые? Проявляется ли в них тяга к оппозиции или, наоборот, к сохранению равновесия с, так сказать, общественным режимом?

С. Соколовский. По отношению к государству и режиму нынешнему у нас, надо сказать, отчетливо сложились три группы. Люди, которые радикально не хотят иметь никакого дела ни с какой партийностью и придерживаются позиции радикальной критики всего и вся. Далее, есть патриоты, которые не хотят сотрудничать с Ельциным и его министерствами. И есть группа весьма активная, желающая на словах или на деле что-то изменить в национальной политике, — это ангажированные, заботящиеся о народах и пишущие законы люди. Так что в политическом отношении о нашем сообществе можно говорить как о разделенном сообществе. Какие тенденции преобладают, трудно сказать.

Есть в этнографическом сообществе и правые, и ультраправые, и националисты, что для меня, впрочем, остается казусом и загадкой. С одной стороны, интересно бы с ними побеседовать, а с другой стороны, они ведь не говорят «внепартийно». Есть группы антисемитского толка среди этнографов, есть группы антикавказского... Очень печально это все видеть, потому что профессиональная подготовка должна была бы дать какой-то иммунитет по отношению к подобным чувствам. В общем разделенное сообщество.

С. Чешко. Вообще-то ученый сам по себе подвержен всем тем идеологическим и политическим предпочтениям, которые испытывают и обычные граждане. Но если говорить о науке как таковой, то она, безусловно, в значительной степени перестает быть наукой, когда в нее пытаются впихнуть какие-то идеологические и политические мотивы. Конечно, звучавший некоторое время назад лозунг абсолютной отстраненности ученого от политических процессов, которые происходят в обществе, — это довольно наивный и неосуществимый идеал. Тем не менее, как я полагаю, сегодня надо освободиться от таких политические нелепо раскрашенных ярлыков, как «буржуазная историография» и «прогрессивная марксистская историография», которые до сих пор встречаются в публикациях (в том числе и наших сотрудников).

Что касается консервативного направления и либерального направления, здесь я тоже усматриваю странное и непонятное разделение. Ну как наука может быть консервативна или либеральна? На мой взгляд, она может быть или наукой, или ненаукой. Правда, очень многие этнологи на волне этнического ренессанса стали покидать лоно фундаментальной науки и больше заняты конъюнктурными политическими проблемами. Но это уже не наука.

Отношения с правящим режимом — это общая проблема соотношения науки и политики, науки и государства, науки и власти. Я думаю, что должны соблюдаться определенная дистанция. И опять-таки вспоминаю горбачевские времена и лозунги «еще сильнее укрепить связь теории с практикой». Но дело в том, что фундаментальная наука всегда остается непрактичной наукой. Между тем и



практической политикой всегда должна быть цепь переходных этапов в виде различных прикладных дисциплин. В противном случае пострадает и фундаментальная наука, и общество. Для меня классическим примером этого была гайдоровская политика, при которой макротеоретические экономические концепции, к тому же, достаточно сомнительные, были непосредственно встроены в практическую политику. Что из этого получилось, мы видим. То же самое может быть и с этнологией. Ну, а лояльна наука к политическому режиму или нет, это дело уже не отношения науки с политикой, а дело отношения конкретных ученых с политическим режимом.

А. Никишенков. Вы знаете, наш интеллигент — он вчера был революционером, а сегодня консерватор, а еще через день он станет, возможно, религиозным фанатиком. У нас очень многие совершают эту, не знаю, «эволюцию» или «инволюцию».

Многое зависит, конечно, от организации. Наш истфак в целом консервативен. Это моя субъективная точка зрения, и разные люди под ней могут понять разное. Там есть, конечно, и либералы, но в общем-то он консервативен. В Институте этнологии и антропологии консервативные тенденции тоже преобладают. Правда, несколько лет назад все могло быть по-другому. В перестройку, наверное, либералами были все, в том числе и ваш покорный слуга. А потом постепенно все поменялось. Чем это объяснить, не знаю. Может быть, денежным вопросом, а может быть, просто психологической усталостью, а может быть, разочарованностью в чем-то. Скорее всего, всем этим вместе.

Левые или правые тенденции? И не правые, и не левые. Я не вижу преобладания левых тенденций, хотя вижу скепсис по отношению к либеральной демократии. И не вижу преобладания действительных правых тенденций — это скорее такой растерянный центризм. Центризм — не как продукт «практической воли», а как продукт «случая». Это можно назвать состоянием «прострации» или «фрустрации». А самое главное, на мой взгляд, — это отсутствие объективной возможности *вербализовать* эти настроения, *болезнь языка*. Люди не знают, как говорить, не знают, *какое* имя у их настроений. У нас это можно часто наблюдать.

Люди впадают в крайности политических суждений не потому, что они убеждены в «крайнем» варианте, а потому что это проще и выражает эмоциональное состояние. Например, в состоянии злости человек вообще склонен к радикальным суждениям. Если такой человек сталкивается с разозленным «правым», он непременно (если это человек невыдержанный) станет разозленным «левым». И этот же человек, столкнувшись с разозленным «левым», может стать разозленным «правым». Все это происходит на уровне словесности. Действительное его положение ему самому неизвестно. Это сегодня общая история. Это — своего рода состояние транскulturации, состояние потери «структурной культуры» и самоидентификации. Мне так кажется. У нас вообще все очень много зависит от настроения, а настроение у нас сейчас плохое.

Что касается общественного режима, я наблюдаю сейчас презрение по отношению ко всем «власть предержащим». И в то же время имеется более или менее осознанное отношение: «Ничего менять там не надо — ни к чему это не приведет; пускай будет Ельцин, ради бога... Как-нибудь, лишь бы не начало все меняться». Потому что если начнет меняться, то будет опять какая-нибудь драка, дрызга, все перепутается, а ничего хорошего не будет.

Так что я считаю возможным говорить об амбивалентности в действительных настроениях наших этнографов. Это западная антропология перманентно заряжена определенной позиционной тенденцией, а именно неким налетом руссоизма, любви к дикарю и критическим отношением к *истэблшменту* своего общества. Сила этой тенденции варьирует в разные времена, иногда с ней борются, критикуют, но она есть и объективно отложилась в традиции. А у нас подобной тенденции нет.

Иногда мне кажется, что она как бы есть, однако я часто себя спрашиваю, а не проецирую ли я свое желание на факты? Во-первых, если эта тенденция и есть, то

она так закамуфлирована, что ее просто не разглядишь. А во-вторых, я очень часто встречаю, особенно у этнографов старшего поколения, позицию именно истэблшмента, позицию некой воображаемой интеллектуальной элиты, которая знает, как все решить в обществе. Вообще готовность по зову трубы (причем, любой!) забраться на трибуну и оттуда порулить чувствуется у многих этнографов старшего поколения. Это, кстати, и проблема прикладной этнографии, и проблема мировоззренческая. Они убеждены, что они имеют на это право. Поэтому вопрос о заряженности политической... ну, какая это заряженность? Это амбивалентность, нет ее, такой заряженности.

**А. Елфимов.** Что можно сказать об отношении гуманитарных наук к воспроизводству общественных и культурных ценностей. Какова, по вашему мнению, общая установка нынешних гуманитариев — «славянофильская», «западная» или нечто более или менее сбалансированное? Какова ориентация нашей отечественной этнографии в этом смысле? Изменилось ли что-нибудь здесь за последние 10—15 лет?

**С. Чешко.** Вообще, как я уже сказал, сегодня в отечественной этнологии есть определенный элемент хаоса и разброда. Это факт. Но есть и определенная тенденция, которая появилась где-то в конце 1980-х годов в связи с общественными процессами, касающимися этнического возрождения. Очень многие этнографы прониклись духом этнического романтизма — так сказать, «возрожденческим романтизмом». Почитайте работы наших ученых. Во многих из них как аксиома звучит лозунг возрождения культур народов, раньше СССР, а теперь России. Расплодилось множество программ возрождения как малочисленных народов, так и «многочисленных» российских народов. Хотя если разобраться (по существу, в этом никто не разбирался), все эти лозунги довольно сомнительны. Ну, *что* возрождать? Старое? Лапти и самовары возрождать? Кибитки возрождать? В чем это возрождение должно выражаться, если мы говорим о культуре? В конце концов, культура это *континуум*, и говорить о том, что сегодняшнее общество бескультурно, — это совершеннейшая нелепость.

Что касается установок типа славянофильства и западничества, то они тоже есть. Связаны они, опять-таки, с идеологическим размежеванием среди ученых. Есть этнографы, которые придерживаются русофильских ориентаций. Есть этнографы, которые занимают если не русофобскую позицию, то, по крайней мере, позицию, которая ставит на первое место не русский народ. Это размежевание тоже началось где-то с конца 1980-х годов. Тогда ученые в известной степени способствовали тому, что русскому народу стали отказывать в праве выражать какие-то собственные интересы и эмоции; некоторые даже русский этнос как целостность стали вообще отрицать. А сегодня, как реакция на это, идет обратная тенденция роста русского этнонационализма.

Есть и другие, скажем, проармянские настроения, проазербайджанские, проеврейские, — какие угодно, что там говорить. Если можно обвинять коллег в антисемитизме, как у нас был случай, то почему нельзя говорить о пресионистской позиции? И она тоже есть. Но это разделение, конечно, не всеобщее. Я думаю, что большинство ученых все-таки занимает достаточно спокойные и нейтральные позиции.

**С. Соколовский:** Есть и то, и другое. И чего здесь больше, непонятно. Но любопытно наблюдать сейчас за молодежью. Я участвовал во многих конференциях молодых ученых, а иногда их организовывал. И хочу сказать, что за время перестройки произошла «эволюция» следующего характера. Сначала, когда все приоткрылось и появилась масса публикаций, в этнографии вовсе не возникла такая «ура-патриотическая» славянофильская тенденция, а, скорее, возникла прозападная. Потому что книги с Запада, те, которые раньше было трудно получить, оказали на этнографию определенное влияние: они позволили увидеть все местное знание в некотором глобальном контексте. И произошла переоценка знания.

Славянофильство рождалось уже как реакция на этот приток книг, и людей.

Приезжали многие живые носители, ученики каких-то известных антропологов или же они сами (как Геллнер, например, который приезжал несколько раз; приезжали Юлия Кристева, Жак Деррида, хотя это уже не антропология. То есть, если и антропология, то уже в более философском смысле слова).

Славянофильская тенденция родилась как антитеза и собрала людей, в общем консервативных, которые и раньше боролись с разными «измами» (кроме марксизма), а тут явно почувствовали некую почву уже вокруг идей такого «соборно-церковного» размаха, что ли,— и на этой почве сплотились. И, скорее, это было политическое разделение, чем научное. Все конструкции, которые за этим стоят, если они действительно стоят,— идеологические. Они, так сказать, подверстываются под позицию, а вовсе не теория рождает позицию. Тут все наоборот.

Так вот, о молодежи. Прошла эта фаза знакомства с новым. Ну, познакомились. Теперь они его клеймят (кстати, меня клеймят словом «постмодернист» — не знаю, за что и почему) и бросают обвинения и вопросы такого рода: «А что дальше?», «Ну, вот они это сказали — и что?». Я говорю: «Позвольте, здесь же вся проблематика, связанная с присутствием этнографа в поле, вы сейчас без этого не сможете нормально работать, потому что слишком наивная была парадигма, с которой этнограф уезжал в поле до постмодернизма. Модели стали сложнее — хотя бы вот это приращение знания принять во внимание. Да, может быть, вы делаете все те же обычные вещи, но вы уже делаете их с другими головами, разве этого мало?»

Мне не нравится потребительское «Что дальше?» («дайте нам следующую теорию»). Как будто не они сами должны ее дать! Из всего этого возникает примерно такая позиция: «постмодернизм ничего не дал — вернемся к старому». А «вернемся к старому» означает чаще всего относительно бездумное воспроизводство того, что уже было наработано. Постмодернизм вообще усложнен, особенно философский постмодернизм. А уж постструктуралистская философия, тот же Деррида, или, к примеру, Хайдеггер,— это тяжело.

Как я уже говорил, одна из бед нашей этнографии в том, что она не открыта философским идеям. Этнографы как бы решили уже, что такое человек (давно решили, еще в XVIII в.), и им осталось только какие-то детали уточнить.

То есть просвещенческая традиция, которая передалась нам через немецкий романтизм, через немецкую гегелевскую (через руки Маркса) философию, дошла до нас прекрасно сохранившейся. Дошла идея позитивного знания, где все точки по поводу человека расставлены. Осталось восполнить детали, в частности, этнические (тем более, что они по всем параметрам созданы вполне логично, поскольку никто не проверяет наличия действительных признаков групп, и автоматически считают этнической группой любой человеческий конгломерат, если тот обладает какими-то особенностями).

Меня удивляет, что людей перестала интересовать динамика группообразования и вопрос, что такое вообще группа. Ушла та проблематизация реальности, которая раньше стояла как вопрос «А с чем мы имеем дело?». Уже разграфлена вся этническая карта, я об этом уже говорил. Все границы расставлены до тебя. Это и есть наша модель позитивного знания: ты делаешь свой маленький кусочек в уже известной картине, где все познано и осталась маленькая проблемка: «Я еще немного доисследую ее, дам отчет, закрою тему, а потом можно будет еще одну маленькую проблему взять». Примерно так.

А. Никишенков. Есть тенденция, характерная для всех аккультурационных процессов, которая именуется иногда, вслед за Линтоном, «nativism». У нас она, конечно, проявляется. Часто у нас трудно разобраться, кто западник, а кто славянофил, потому что в любом аккультурационном процессе все меняется стремительно; инверсии и расстановки знаков с плюса на минус и с минуса на плюс следуют одна за другой. В нашей науке было время, когда занятия западными историографическими сюжетами были уважаемыми. Но с течением времени стало возникать какое-то удивительное, немножко враждебное отношение ко

всякого рода западным идеям, понятиям, категориям. Это, наверное, отчасти связано с комплексом неполноценности, потому что чисто психологическое фрустрационное состояние проецируется в сферу «рацио» и как бы неосознанно влияет. То есть люди вовсе не обязательно считают, что «у нас всё лучше, у нас всё более совершенное, у нас всё свое и т. д.». Это происходит бессознательно. И это наиболее печальный факт.

В целом за последние 10 лет настроения в нашей дисциплине прошли такую эволюцию: сначала бурный интерес ко всему западному, даже немножко экзальтированный (это было связано и с поездками на Запад, и с приездом сюда иностранных ученых. Я помню, когда они приезжали, то все ходили их слушать — и как (!) слушали. Казалось бы, дали зеленый свет тому, что раньше было «прижмурено». Но потом очень быстро наступило время равнодушия ко всему этому. А сейчас я наблюдаю приход такой славянофильской, что ли, такой «почвеннической» тенденции. Даже у тех людей, которые еще вчера с любопытством взирали на то, что происходит на Западе. Вообще раньше интерес ко всем этим вещам был живее и проще, чем сейчас. Теперь тоже есть определенный интерес, но к нему примешивается много другого (о чем говорить специально, наверное, не стоит).

Воспроизводство общественных и культурных ценностей?.. Об этом недавно хороший доклад прочитал Карлов (об историческом сознании русского этноса). Там речь велась о том, что идет эрозия многих вчера еще самоочевидных ценностей и что это угрожает большими катаклизмами через поколение, когда нынешняя молодежь, еще не обладающая иммунитетом к подобного рода инверсиям, может вдруг оказаться оставленной без всяких ориентиров. Это, конечно, общее место, и об этом все время пишут в газетах (в газетах самого разного толка: и в радикально-демократических, и в радикально-православных, где угодно). Но для нас-то вопрос был более конкретен: что в этом отношении может сделать гуманитарная наука и что она делает? А ничего. Она не готова к этой проблеме в таком, что-ли, прикладном смысле. А проповедями эту проблему не решишь, и даже *указанием* на эту проблему ничего не решишь. Потому что все это имеет характер эсхатологических пророчеств. Подобно тому, как в миллениаристских культурах пророки вещают о конце света, так и газеты, и ученые относятся к своим футуристическим проблемам. Это, впрочем, имеет некоторый оздоровляющий, «апокалиптический» смысл.

Я полагаю, что со временем наука, конечно же, пройдет этап этой эсхатологии. Сейчас он, однако, объективно неизбежен. Он связан с усилением того же самого «нейтивизма» и психологической интеллектуальной самоизоляции. Когда-нибудь это все прореагирует, и в ходе этой реакции в обществе созреют новые настроения и новый язык. А старыми понятиями и старыми ориентациями ничего сегодня не ухватишь. Мне так кажется.

Ценности должны зародиться *новые*. Смыслы должны зародиться *новые*. Они уже появились, но мы не готовы их воспринимать с нашим старым языком. Это мучительное состояние, но это и творческое состояние. И его не минешь, как не минешь кризиса болезни. Я так думаю. Гуманитарная наука, конечно, будет все эти перемены озвучивать. Она обязана их озвучивать и вербализовывать. И поэтому поляризация неизбежна, более того, необходима. У нас должна быть «гетероглоссия», которая даст возможность появляться новым смыслам и новым отношениям в научном пространстве. Я так это вижу.

А. Елфимов. В заключение я хочу задать сакраментальный вопрос: «Есть ли у этнографии будущее?» Есть ли у нее реальные перспективы роста или, скажем, ей грозит уйти со сцены, уступив место ряду таких дисциплин, как социология, культурология, политология и др.?

С. Чешко. Здесь есть проблема. На поставленный вопрос, казалось бы, нужно однозначно дать положительный ответ (как это у такой науки не может быть будущего, если есть народы?). Но тут возникает проблема предметной области этнографии. В условиях, когда традиционность уходит со сцены и появляется новая, «индустриальная» традиционность, наша наука теряется в вопросе о том,

как это изучать. Какими методами? Где тут вообще этничность? Эта проблема стала очень активно обсуждаться в последние годы. Возможно, приоритетными вопросами исследований в сегодняшней ситуации, действительно, становятся активно изучающиеся на Западе «этничность», «этническая самоидентификация» и т. п. Это, я боюсь, одна из тех проблем, к которым наши российские этнологи не подступали как следует.

Этнография может умереть, если ее прекратят преподавать. Но если будет происходить воспроизводство этнографических кадров с определенной фундаментальной подготовкой, то все равно останутся ученые, которые будут заниматься изучением народов и культур. Несмотря на объективные трудности в нашей стране, у этнографии есть хорошие возможности. Сегодня, вы знаете, уже многие стали избавляться от обаяния количественных методов и социологических опросов. Они просто чувствуют, что даже в условиях исчезновения традиционной культуры никакие психологические установки и ценностные ориентации этой методикой верно не возьмешь. У этнографии все равно остается то, чего нет у других наук, — непосредственные полевые наблюдения. Опора на полевые исследования остается специфической и родовой чертой нашей дисциплины.

С. Соколовский. Когда я говорю, что этнография «закрыта для проблематики», это вовсе не значит, что она не может открыться. Если она будет преподаваться нормальными людьми, если будут человеческие головы этим заняты — будет и будущее. В конце концов, люди — разумные животные.

Философы у нас оказались, в этом смысле, более приверженными своей дисциплине. Они не только освоили новое знание. Они начали создавать нечто свое и, как я считаю, не менее значимое, чем у того же Деррида, но на материалах русского языка и отечественной мысли. И это замечательно. Я думаю, когда-нибудь это произойдет и у нас, этнографов. Когда-нибудь, когда мы перестанем быть ленивыми и узкодисциплинарными. Тем более, что традиция дисциплинарного знания, как мне кажется, все-таки умирает. Она, конечно, будет передаваться, но будет существовать, скорее, как «модус воспроизводства» знания, а не как его «производства».

Далее, этнография как дисциплина?.. Во-первых, никаких колониальных функций она не потеряла. Это, мне кажется, риторика. Потому что логистику для операций американского флота и пехоты все равно будут в известной мере давать антропологи. Американцы сейчас в этом униполярном мире внедряются куда угодно, и если антрополог предложит детальное знание, к примеру, о «культуре» насилия в Югославии или Афганистане, они с удовольствием это купят. Этот прикладной аспект сохраняется. А что касается так называемого кризиса институционализации, то речь здесь идет о перекройке дисциплинарных границ, а еще точнее, — об университельских *curricula*.

На Западе система производства знания сращена с системой его воспроизводства — и такие кризисы вполне оправданы. У нас эти системы более или менее разъединены. А поскольку для традиции наших институтов характерна еще и такая черта, как большая инертность, постольку наша дисциплина будет жить вечно. Ее никто не может «закрыть». Если закроют, то уж всю академическую науку, но никак не одну этнографию. Так не будет. Хотя бы потому, что тут же скажут: «В Америке столько кафедр, а вы, претендующие на место державы, не можете организовать такое дело!..»

Инертность — это один фактор. Другой же заключается в том, что у нас этнологи активно идут в политику, в законодательство, пишут рецензии на разные законодательные инициативы и участвуют в других делах. Сейчас в министерствах везде звучит слово «этнос» — они знают это слово, они его выучили давно. И когда этим людям говоришь, что есть еще и другие точки зрения на «этническую» реальность, они удивляются. Потому что они освоили только слово «этнос» и повсюду его произносят, говорят о «вымирании этносов» и т. п. То есть их риторика насыщена словом «этнос». Они знают, что это такое, как это важно, и требуют информации в этом русле и пр.

Любопытно, что как только начался чеченский кризис, сразу обратились к этнографам — к Чеснову, к Арутюнову. Начали расспрашивать: «Что же это за народ?» То есть старая традиция, когда чуть что, докладную записку требуют от академика, — она тоже сохранилась.

Правда, возникла и масса новых аналитических центров и прочих организаций, где этнографы активно вовлечены в делание политики. И в этом смысле им тоже ничто не угрожает. А в социологическом смысле, никакого кризиса для здешней науки нет, скорее, наоборот. А вот в смысле знаний — да. Тут всё налицо. Может быть, это связано еще и со сменой поколений. Мне кажется, мы потеряли одно активное поколение за счет перестройки — оно ушло из науки, и это сказывается. Люди, которые прежде были законодателями в Академии, что-то говорили и их статьи читали — они ныне либо переписывают сами себя или вообще ничего не пишут. А новое поколение пока еще не встало на ноги. Чаще всего, к сожалению, они пока пишут учебные работы (где решается какая-то частная проблема, где нет свежей и радикальной постановки вопросов).

Впрочем, я заключаю все сказанное в кавычки, поскольку это мой взгляд — и не более как взгляд. Все может быть совсем не так.

А. Никишенков. Это на самом деле сакраментальный вопрос. Он задается периодически, через каждые лет 25 (может быть, чаще или реже). И вопрос в общем-то резонен. Ведь речь идет о разрешении какого-то цикла в деятельности, мышлении и работе. Конечно, у нашей российской этнографии есть будущее. И, как ее ни назови, — этнографией, этнологией или антропологией, она, естественно, будет меняться. Хотя для нашей науки характерен такой феномен, как большая инерция. Наверняка, она будет почковаться, вступать в самые причудливые брачные и внебрачные связи с самыми невероятными отраслями знания. Но «племенная» традиция, она, конечно же, останется. В ней, в этой традиции, однозначно и окончательно ничего не обоснуешь логически — ни предмета, ни метода, ни подхода. Это именно *традиция* — своеобразное следование по пути, намеченному «великими героями первотворения».

То, что предметная область этнографии расхватывается другими дисциплинами, в общем-то для этнографии не страшно, потому что она с самого начала возникла как своего рода супернаука, охватывающая все человечество. В ней никогда не было четкого логического предмета. Были квазифилософские задачи, которые были у других дисциплин. У нее (у русской этнографии) только недавно появился более или менее онтологически и логически обоснованный предмет — «этнос». Но его жизненность еще должна быть доказана в ходе конкретных исследований.

Я думаю, что в этом направлении может быть сделано много ценного. Главное, чтобы теоретические поиски и нащупывания нового видения предмета не прекращались. Интересные результаты могут всегда возникнуть внезапно и неожиданно.

## Considering the perspectives of a science

Interviewing four Russian ethnologists is a part of the project initiated by a prominent American anthropologist G. Marcus in collaboration with Chicago University Press. The interviewees talk about some essential problems of the development of ethnological science in Russia.

A. Elfimov